

СЛОВНО БЫ УСПЕЛИ уйти они с малого острова, спаленного жадным огнем и скрытого мутной водой. И явились они сюда, под просторные, светлые окна, и словно бы остановились с немимым вопросом, замерли у человеческого тепла, — листвен и береза. Совсем как в книге, совсем как посреди дикой, увитой травой Матёры: «Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», и крепится остров к речному дну, к одной общей земле...»

Серый день. Солнечно-желтый дом. «Здесь пишется...» Тринадцать скрипучих ступенек вверх. Стул. Стол. Бумага. Спрошу без подготовки и неловко: «Зачем, по-вашему, человек живет?..»

Хозяин усмехнется и предложит:

— Пойдемте-ка чай пить. Чай, по-моему, уже остыл...

ВЫСОКИЕ ОКНА. Окна во двор. И окна на неширокую улицу. Оттого-то кажется: в комнате пронзительно ясно.

— Это же хорошо, когда ребенок до своего часа окружен сказками. Они хранят и развивают его душу, а жесткому ветру взрослой жизни не дают высушить ее и покрыть досрочной корой «всезнания».

— Так что дурного в раннем знании, Валентин Григорьевич? Наоборот, утверждают: чем раньше ребенок узнает мир, тем меньше ошибок впоследствии.

— Не думаю: тут ошибка, по-моему, получается серьезнее. Вроде бы и во благо мы подчас объясняем ребенку грубо и поспешно: зачем человек родился? как и почему умирает? А ведь чтобы понять это — целой жизни мало. Ребенок смотрит на звезду — и о чем думает? Ни о чем он не думает, он примеривается, как быстрее до нее долететь...

И смешно, конечно, требовать от него много. И грустно, что мы сами второпях, досрочно лишаем его порой поэзии, учим его примеривать и прикидывать. Убрав поэзию мира и человека, кого мы воспитаем? Преждевременно «умного», точнее — черствого человечка?

Очень мало времени отведено нам на сказки — берегите его...

Четыреста верст от Аталани до Иркутска. От столицы до Аталани — много тысяч верст. Его дом, его постоянное жилище, даже не посредине — гораздо ближе к родной деревне. Это, кажется, очень важно для него. Он часто бывает там. Оттуда, из Аталани, убежавшей не столь уж давно от большой воды на сухое место, регулярно приезжает мать.

Он очень важен, он, верно, очень нужен, взгляд родного человека, умеющего спокойно отделить зерна от плевел, обучившего и его когда-то этому мудрому искусству. Все начиналось там. И именно потому, что начиналось там, в сибирской, нетронутой, укрытой до поры расстоянием и временем глубинке, — не этим ли и объясним неожиданный, быть может, для кого-то «иркутский феномен»? Человечество начинается с человека. Мир начинается с таежной деревушки. И была способность разглядеть в деревушке этот мир; не она ли, такая детская способность, счастливо сохранившая в себе до зрелых лет, дает умение относиться к миру взрослому, сложному — с прежним сочувствием, с чувством близкого родства?

Мне кажется, у него и внешне осталось много из первого, детского облика. Это и в повадках, и в неровностях голоса, и в порывистости, с которой иногда он, обычно спокойный, быть может, неожиданно и для самого себя вступает в разговор; особенно это приметно в лице, мягком, округлом, с крупными темными глазами. Будто был-был ребенком — и сразу стал взрослым...

Обо всем этом думаю, сидя в гостиной, среди книг, тесно вставших вдоль стен, напротив часов с кукушкой.

— Вы говорите: не лишайте ребенка сказки. Хорошо. Но в таком случае, Валентин Григорьевич, человек придет в большой мир не готовым к бурям, к плаванью...

— Неправда! В сказке все есть. Если это мудрая, народная сказка. Она воспитывает прилежание, любовь — к матери, к Родине. Есть в ней и добро, и зло. И обязательность победы над злом — это важно. Сказки не развлекают — они учат. Пушкину они помогли «выучиться» на великого поэта. К счастью, пела и рассказывала их талантливому ребенку мудрая женщина — Арина Родионовна...

Развлечение как смысл жизни — это опасно в любом возрасте. Самую сердцевину души, ставшую внезапно пустой, заполняют отупляющие, монотонные ритмы рок-музыки — почему?!

— Вы — противник легкой музыки?

— Да нет... Я о другом не столько. Я противник легкого отношения — и к музыке, и вообще к жизни. Пой себе, танцуй, но не забывай, что ты человек. То есть существо, которое обязано думать. Причем самостоятельно, совестливо.

Позвонили. Распутин легко поднялся — джинсы, ковбойка, удлиненные темные волосы с заплутающей в прядях светлой седины — пошел к телефону. Я остался на минуту один. Среди книг — Достоевский. Тонкая, дрожащая, ослепительная свеча. Тонкие руны на гладкой плоскости стола. Темный долгий взгляд туда, в память...

— А что такое совесть?

— Считаю, — мягко улыбаясь, — Распутин, — сейчас нет нужды объяснять, что есть хорошо и что плохо. Это все знают. А слово это — совесть — мы употребляем слишком часто. Еще чаще — не по назна-



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН:

ЖИВУ И ВЕРЮ

Совесть порой понимают как долг. А что есть долг? Это ответственность перед другими. Совесть же — это стыд. Ответственность перед собой.

— А нужны ли здесь, Валентин Григорьевич, столь скрупулезные разграничения?

— Как же не нужны?! Заблудиться посреди огромного материка духовности, право же, немудрено...

Опасны крайности, но не менее опасно и другое: когда смысл важных понятий подправляется подчас в угоду житейским обстоятельствам. Долг ли — учиться в институте? Честь ли — обязательно, непременно занимать «высокую» должность? Все ли решает в жизни деньги? А так считает немалое число людей. Иной человек «смещается» к дурному постепенно, незаметно. Успокоенные этим, мы порой уступаем и уступаем. И забываем, что малый шаг — тоже шаг. Ведь отступление происходит при нашем участии. Стало быть, приходится не только подчиняться этому смещению, но и оправдывать его, ссылаясь, как всегда, на наше стремительное и так далее, время.

— По-моему, вы очень многое требуете от «отдельно взятого» человека! Он живет в мире, среди таких же людей, несущих за него ответственность. Ответственность за его воспитание, становление, наконец.

— Не знаю, не знаю... Все же склонен думать, что слишком много мы перекладываем на плечи общества, освобождая тем самым человека от необходимости отвечать за себя...

Тихо открывается оконце, и кукушка объявляет, что прошел час. Плавно, под порывами влажного ветра, бьет в форточные занавески; магнитофон, который я привез с собой, так и стоит у моих ног, не раскрытый и молчаливый.

— Возьмите статьи на моральную тему. Они, в лучшем случае, о том, как коллектив помог исправиться человеку. Почему не так пристально мы следим за теми, кто не оступился, кто незаметно, но честно трудится? Неинтересно?

— Однако, Валентин Григорьевич, литературу и журналистику интересовали и люди оступившиеся, но исправившиеся. Здесь возможность показать способность человека к нравственному совершенствованию, раскаянию...

— Это не совсем то. Рассказание — личное, интимное чувство, которое сродни стыду. Человек сам кается. Ни школа, ни подворотня, ни «товарищи» для такого человека не могли быть оправданием, средством, снимающим хоть в какой-то степени ответственность за содеянное.

— Какие же люди, какие герои привлекают вас больше? Твердо не отступающие от нравственного правила или же ищущие, ошибающиеся?

— Первые, видимо. Больше Дарья, чем Петруха. Больше Настёна, чем Андрей Гусков.

— В «Матёре» Петруху называют «обсевком». Эта оценка принадлежит только Дарье или же и Вы ее разделяете?

— Разумеется, не разделяю. Для писателя нет и не может быть человека конченого. Да, я уверенно говорю: мы должны судить или оправдывать. Или — или... Но не забывай судить, а потом оправдывать: то есть старайся понять, постичь душу человека. Пока живу чело-

век, каким бы плохим ни был он, есть надежда, что точка еще в его судьбе не поставлена...

АСФАЛЬТ ПАРОВОЕ делит зеленый, зацветающий мир, наша машина в стремительном движении, разрывая плотный воздух, тянет дорогу на себя. Резкий поворот. Вверх, на крутой бугор. Стрелка-указатель: «Зеленый Мыс». Еще метров двести пыльного проселка. «Приехали. А теперь, — смеется он, — найдите, где я живу... Это нетрудно».

Однажды он был приглашен на дачу товарищем-писателем. Точный адрес аполыхах один не дал, а другой не спросил. Единственный ориентир: степень агрообработки земельного участка. Шел-шел: везде аккуратные, ухоженные грядки, тщательно взрыхленный чернозем. И вдруг вместо грядок — девственно зеленая лужайка. Не тронутая ни топором, ни лопатой. Ориентир безошибочный: среди лужайки и жил товарищ-писатель.

Здесь так и не так. Лужайка есть, но ягодные кусты тщательно, умело окопаны, и когда я, на несколько часов покинув Зеленый Мыс, вернулся вновь сюда, то застал хозяина с лопатой в руках. Запомнилось: крупные капли пота на лбу, усталые ладони под теплыми струями, падающими из рукомойника, прикрепленного прямо среди зеленой лужайки.

— Обращаясь к современности, писатель, я думаю, обязан сверять постоянно то, что он думает о жизни, с самой жизнью, должен стараться говорить о ценностях, которые не пересматриваемы ни при каких условиях. На то он и писатель, чтобы видеть сегодняшний день в ряду вечного времени. Но это вовсе не предполагает ни «башни из слоновой кости», ни позиции «над схваткой»: мол, вы деритесь, а я — глашатай вечности. Да, надо говорить, говорить и образным словом, и поверх образного слова — публицистикой. Но тут нужно отделять действительно важное от скоротечного. Для меня это важное — причина, по которой, например, Федор Абрамов обращался в своем известном письме к односельчанам...

Иногда говорят: в войну люди были строже к себе и другим. Бесспорно. Но нельзя же безнравственные стихи — лишения, голод — считать единственным учителем нравственности. Мы сейчас живем куда лучше, чем, например, в сороковые годы. Тем больше необходимо думать: зачем мы живем, как мы живем? Не все, далеко не все пользуются этой возможностью верно. Есть и люди, подобные, простите меня, камню. Такие не чувствуют и не хотят чувствовать. Как добиться от них отклика?

Многое мы не умели: ведь до поры «помогали» воспитывать человека сами обстоятельства. Надо учиться. Это трудно. Но это и важно, и хорошо, что мы осознали необходимость такой учебы. И в этом смысле наш сегодняшний день, живая современность видятся мне и емким учебником, и строгим учителем.

Мы расстались посреди тишины и поноя дома. Хозяин остался наедине с рукописью. Наша машина пошла дальше. Впереди была дорога, тайга, Байкал, Шаман-Камень, вокруг которого неостановимо и вечно бурлит вода и бурлят страсти. Здесь начинались дружбы. Здесь начинались судьбы. Как много пересеклось и соединилось возле этой ревущей подводной горы! Жил он тогда в этих местах, против Шаман-Каменя. Тут было счастье, как бывает счастливо в молодости, и горько, и тяже-

ло — было тоже тут. Когда погиб друг, Александр Вампилов. Все это было здесь. И осталось здесь: в этом малом приозерном мире, полном птиц и трав, зверей и деревьев, — густо и шумно, грустно и весело. Все в этом мире, как в душе: одно к одному.

НА ЧАСТЫХ полках в кабинете — Достоевский и Фолкнер, Толстой и Томас Вулф, Бунин и Хемингуэй, Платонов и Маркес, Шолохов и Горький. Отдельно, особо — словари русских говоров, словарь Даля, сказки, мифы, сборники русских эпических песен.

— Достоевскому и Толстому удавалось задавать жизни вечные вопросы...

Человек вправе и даже обязан «тревожить» себя такими вопросами. Бывает ему и неуютно, бывает и одиноко — и все же надо бесстрашно и честно ответы искать... Думаю, что нередко чувство желанного равновесия объясняется просто самодовольством.

И есть иное чувство, иная уверенность — человека ищущего. Уверенность эта — от правоты, от осознания необходимости самого поиска.

Посадил дерево — и оправдал свое существование? — спрашиваю я себя. — Да. А если сажают и — рубят? Рубят посаженное тобой. Рубишь и сам, с легкой душой, собой посаженное. Такие случаи в тайге нередки. Не понимаю таких таежников. Как ни понимаю и тех строителей, которым все одно: строить, тут же ломать, вновь строить и вновь ломать — «абы платили». Что же это за человек такой, если он с одинаково веселой душой и созидает, и крушит?

Вырастить сына... Повторять и продолжать движение, начатое не тобой, а до тебя, растить детей, свершать круг непосредственной жизни — в этом большая правда, в этом есть и должен быть великий смысл... Но при этом что-то ты лично, не отец, не дед, а ты внес в общую жизнь, на радость и память людям? Еще раз подчеркну: очень важно личное. Особенно сейчас, когда по вине за океанских «ястребов» нависает тень полного уничтожения над всем живым... Мы стоим на острие клина — как Дарья из «Матёры», увидевшая вдруг многовековой строй своих предков. Мы на сгибе, на повороте: для чего были они? Будет ли дальше человек? По сути, мы и решим сейчас все вопросы своими поступками.

— Но всегда ли, Валентин Григорьевич, во всех ли случаях личное решает? Вот старуха Дарья или молодая Настёна — из Ваших книг. Они, мне кажется, очень близки своей твердостью, искренностью, глубиной. Но оказалась Настёна в иных, более жестких обстоятельствах — и они, именно они, погубили ее. Как же это объяснить? Коль поступки человека продиктованы обстоятельствами, стало быть, он не всегда волен в своих поступках?

— Да — в том смысле, что во многих обстоятельствах определяют человека. Нет — в том смысле, что это ни в какой мере с него ответственности не снимает. За поступки свои человек ответственен полностью. Это — драма. Но это высокая, духовная драма, переживать которую дано лишь человеку. Здесь — истинная нравственность...

— А истинна и нравственность — всегда ли эти понятия, на Ваш взгляд, совпадают?

— Знаете, я себе как-то не представляю истины, которая была бы безнравственной.

— И все же?

— В чем истина-то? Наверное, в том, что не может для человека и человечества оказаться злой насмешкой жизнь, если есть в ней Матёра — душа людская. Если есть в ней так много всего — добра, света, счастья... Истина, по-моему, в том, что человек вечен на своей земле. А человечество — не случайно...

ЗА ОКНОМ, там, где земля вытягивала и подавала к самому почти стеклу свежесрезанные древесные ветви, было темно и тихо.

Там вырастала и множилась жизнь, не знающая себе имени и срока, но, видимо, ждущая и понимающая, что близ тепла и света можно надеяться и верить... И поднимался легко из тьмы тонкий пона, молодой листвен. Ствол его еще не окреп и не огрубел вечной коростой, ветки его еще не могли спорить даже с силой века, а корни, тонкие, пронзительные жили, уже стремительно и невидимо росли и вглубь, в тьму, жадно схватывая и прорезая черную земляную плоть, поправляя и встраивая при этом своей волей пока что нежную, слабую ирону.

Застынут, спленившись, корни, станут могучим их тело, и тогда этот молодой великан сможет, наверное, заменить «царский листвен», прикрепляя собою здешнюю разнотравную жизнь, дома и людей в этих домах к одной общей земле — «и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра»...

А. АФАНАСЬЕВ.
(Наш спец. корр.)
Иркутск — Москва.

Фото Ю. ГРИГОРЬЕВА.